

Геннадий Хазанов работает в особом жанре — бродячего артиста. Это обязывает его иметь не только широчайший творческий диапазон, быть все время разным и узнаваемым, но и очень точно чувствовать день сегодняшний, время, в котором существует. С разговора о времени и начала нашу беседу.

— Все мы сегодня живем в атмосфере достаточно накаленной. Люди на улицах стали злые, раздражительные. Как вы оцениваете то, что происходит?

— Я считаю, что это естественно — после того как, наконец, вслух сказано, что организм болен. Жаль, что правильный диагноз установили не сразу, у части руководства долго было ощущение, что это всего-навсего катар верхних дыхательных путей, а оказалось, что — атрофия нижних конечностей. И возникла ситуация, когда мозг у организма работать продолжает, а ноги двигаться не в состоянии. Словом, происходит то, что и должно было произойти.

Что же касается лиц на улицах... Они вызывают очень невеселое чувство — страха, поскольку злоба никогда ничего позитивного не создавала. Прекрасно понимаю, что на такие реакции у людей оснований много. Но самая большая беда в том, что наши потребности на сегодняшний день сильно опережают наши способности. Несмотря на то, что потребности мизерные, приходится с ужасом констатировать, что способности — еще мизернее. Подняться над сиюминутным, смотреть в перспективу очень сложно, большинство на это не способно — отсюда и возрастающая нетерпимость. Может, я выражаюсь несколько путанно, но это точно соответствует той двойственности, которую испытываю: с одной стороны, я людей понимаю, с другой же — отчетливо сознаю, что эта нетерпимость — источник грядущих бед.

— Геннадий Викторович, а это влияет на ваше творчество?

— Да, влияет. Потому что в тональность выступлений должна вноситься коррекция — надо пытаться понять всех. Это приведет к меньшей сатиричности. Сегодня общество и так занято вопросом «кто виноват?», и актеру, наверное, стоит решать какие-то другие, например «что делать?». Но на него ответить, боюсь, я не в состоянии, а на вопрос «кто виноват?» я отвечать не желаю.

— А что сегодня вызывает у вас положительные эмоции?

— Отсутствие смирения прогрессивной части людей. Их иногда просто ангельское терпение и желание объяснить, что ничего страшного в свободе нет. Наличия таких людей — среди интеллигенции, рабочих, научных и партийных руководителей — единственная надежда на какой-то светлый коридор.

— Вы всегда точно ощущаете зал. Каков нынешний зритель?

— Есть элемент усталости, насыщения негативизмом. Я осмелюсь процитировать мудрое изречение Герцена, понимая, что за это в меня могут «полететь камни» — самого-то Герцена уже нет. Так вот, Герцен когда-то написал, что нельзя давать демократию народу, который находится в рабстве у своих пороков. И получается, что артист моего жанра на сцене борется за демократию, пытается раскрепостить зрителя, и после того, как он это сделал, в жизни имеет возможность убедиться, что огромная часть раскрепощенных зрителей своими действиями начинают доказывать справедливость формулы Герцена.

— Как понимать вас? Вы противник демократии?

— Нет, я просто предлагаю не рассматривать демократию как возможность убить другого. Свобода не состоит в том, чтобы свободно кого-то уничтожать. Это уже было — все предыдущие семьдесят лет.

На меня сильное впечатление произвел известный митинг в Ленинграде, который я видел по телевизору. Поразила агрессивность людей и особенно один выступавший, который говорил: «Надо наконец ответить, на кого мы хотим работать. На капиталиста? Нет! Мы хотим работать только на себя!» Я был просто поражен. Где, в какой стране мира человек работает только на одного себя? Что это за новоиспеченный Карл Маркс, который придумал новую общественную формуляцию? Но самое главное, что говорилось это, повторяю, очень агрессивно, с желанием у кого-то что-то опять отобрать и поделить. Неужели непонятно, что этот путь мы уже проходили?..

Безусловно, призывы к терпению, добросердечию и милосердию сейчас становятся такими же банальными, как в свое время призывы «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Но путь согласия — единственный, другого нет. Находиться в состоянии постоянной войны — бессмысленно и глупо.

Я никак не могу понять, почему ленинградские коммунисты на том митинге призывали Политбюро к ответу. Разве Политбюро должно приехать в Ленинград и убирать грязь на улицах? Вся энергия уходит только в крики, бесконечные слова и требования — дайте! Дайте! Дайте! Да откуда у них?! У них — нет!

Я понимаю, люди бастуют от отчаяния. Ну хорошо, день бастуют, два, неделю, месяц, полгода — а что от этого произойдет? Какой позитивный сдвиг? Мне просто жалко бывает смотреть на Рыжкова. Ну как будто он у себя дома в подполе спрятал эту колбасу и не выдает шахтерам... Я понимаю, что упрощаю, что требуют они не только колбасы, разговор идет о другом. Но ведь в обществе все настолько взаимосвязано, причем такими многолетними взаимосвязями, что поручить их сразу непростое. И, как ни симпатично выглядят иные радикальные выступления людей, которые мне глубоко импонируют, все же порой то, что они пытаются предлагать, мы сделать не в состоянии. Чудесно подойти и сразу поднять штангу на пятнадцать килограммов выше мирового рекорда. Но что будет со спортсменом? Не порвутся ли у него связки?

Конечно, жизнь проходит. И каждому хотелось бы пожить по-человечески. Тем более вдруг «выяснилось», что у нас за плечами. И что наши достижения, как это ни ужасно, были вопреки, а не благодаря. Как, например, Беломорканал, разве может он вызывать — если вспомнить, кто его строил и как — чувство гордости? Думаю, только слезы... Я смотрю на

людей, которые радуются, что достали банку майонеза. И это в конце двадцатого века. В первой стране победившего социализма.

— Несколько лет назад, когда общество стало открыто говорить правду, среди сатириков возникла легкая паника — что делать, раз обо всем теперь пишут в газетах? Но, кажется, волновались они преждевременно...

— Сатира как жанр будет существовать до тех пор, пока будет человечество, которое — увы! — так несовершенно. Трудно предположить, что появятся какие-то абсолютно идеальные, безгреховные люди, одинаково разумные. Это — из области нереальных мечтаний, где религия смыкается с коммунизмом.

— А как гласность повлияла на сатиру?

— Сатира изменилась сильно. Стала еще более бестактна, удивительно тавтологична и еще менее художественна, при том что художественность она предполагает прежде всего, сатира — это мироощущение. Писатели находятся в прямой зависимости от аудитории и ее установки на прямые формулировки. Я бы сказал, что сатира сегодня разрушает то, что прежде утверждал административно-командный стиль — его же методами. Я поясню. Жанр сатиры — это в определенной степени навязывание своей

когда я узнал, что смыты и записи Гилельса, Ойстраха, Ростроповича, еще целого ряда крупнейших художников, исчезновение собственных уже не так отчаивает. Видите, срабатывает инстинкт: когда другим так же плохо, как тебе, тебе уже не так плохо. Хотя, конечно, даже как воспоминание, возможность просмотреть какое-то движение, рост, изменение актерских приспособлений, самой личности записи представляли интерес. А может, и нет. Раз не сохранилось, значит, и не должно было...

— Скажите, формируя свой репертуар, вы испытывали пределы гласности?

— Нет. Тем не менее хочу воспользоваться случаем и «обрадовать»: три материала не получили разрешения на исполнение. Правда, я, основываясь на интервью руководителя Главлита СССР тов. Болдырева и, в частности, на его словах об отмене политической цензуры, не обратил внимания, что его подчиненный не дал мне разрешения на исполнение этих миниатюр. И если я их не читаю, то потому, что в какой-то момент они мне меньше стали нравиться или не так уж нужны — говорю это совершенно искренне. И ни в коей мере не из-за того, что не разрешили. Я все равно буду исполнять то, что мне кажется необходимым. И если буду за это нести ответственность, что же... мне не

Прогнозы Геннадия Хазанова



точки зрения. Сатирик отрицает то или иное явление и при этом не сомневается, не ставит вопроса, а выносит приговор — типичные черты административно-командного стиля. И поэтому жанр сатиры себя очень обедняет. Понятно, что я имею в виду только эстрадную сатиру и не отношу это к советской сатирической литературе — к Булгакову, Платонову, Эрдману, Шварцу, художникам огромного масштаба. У эстрады требования иные. Замечательно сказал Зощенко — я пишу короткие фразы, мой язык доступен бедным и понятен бедным... Может быть, поэтому у меня так много читателей.

— А как изменились за последние годы вы сами?

— Я окончательно убедился в том, что невозможно обмануть собственную актерскую природу. Что я должен искать на сцене такие средства выражения, которые не противоречили бы моим взглядам на происходящее и в то же время не замыкались бы в декларативной форме. Я раб своего жанра, и в этом, оказывается, ничего трагического, как мне казалось порой, нет. Обязательно должно быть смешно, даже если это по сути очень грустно.

— А вам не кажется, что именно смешное нам сегодня нужнее всего? Так хочется веселья, радости?

— Это правда. Но, к великому сожалению, возраст не дает мне возможности смеяться безоглядно. И если меня как человека чаще начинают посещать минорные ноты, они все равно будут входить в подтекст, станут моим «подлежным слоем». От этого куда не денешься... Хотя, конечно, что касается удовлетворения желания смеяться, я еще могу помочь. А вот насчет радоваться — это скорее находится в сфере деятельности нашего Верховного Совета.

— Кстати, прийти смеяться на ваши концерты не так-то просто — билеты по-прежнему дефицит. А на телевидении вы появляетесь реже, стало мало Хазанова. Почему?

— Я думаю, Хазанова осталось столько же, просто других стало больше. Во-первых, у меня очень медленно обновляется репертуар. Потом метраж миниатюр постоянно входит в противоречие с требованиями телевизионного времени: обычное эфирное время для артиста моего жанра 8—10 минут, если 14 — уже не годится. Кроме того, записав миниатюру на телевидении и дождавшись ее выхода в эфир (что, правда, случается не всегда), я изымаю эту миниатюру из репертуара — стараюсь не потчевать со сцены зрителей тем, что они уже видели по телевидению. За последние два года я выдал эфирного времени часа полтора, если не больше. Для меня это очень много, ведь в жизни пишущих для эстрады людей произошли огромные изменения. Теперь они стали много выступать сами, и им нужен репертуар. Правда, появились и новые пишущие люди, но после того, как я смогу принести им известность, может быть, необходимость во мне у них упадет. Я не могу никого упрекать — ну что поделаешь, если человек хочет читать сам...

— Вы много записывались на ЦТ, и, думаю, собралось там достаточно. А что если сделать ретроспективу Хазанова?

— Я хотел собрать коллекцию своих записей на ЦТ, но с грустью обнаружил, что все, что было до 1982 года, уничтожено: не хватает пленки. А

привыкать. Самое главное — дождаться, наконец, закона о печати и жить согласно ему. Пока же этого закона нет, приходится жить в беззаконии.

— А про что были эти миниатюры?

— Одна, Марьяна Беленького, называется «Урок демократии». Это картинка, навеянная событиями в Тбилиси. Другая — Михаила Успенского «Интервью в 2000 году с секретарем ЦК КПСС Ниной Андреевой». Но поскольку это выходит за рамки чисто художественные — там конкретному живущему лицу приписываются слова, которые она не произносила, но, с точки зрения автора, могла бы произнести, — может, действительно, элемент бестактности и есть. Тем более что мы сейчас свыкаемся с тем, что презумпция невиновности — отправная точка. А третья миниатюра — молодого московского писателя Виктора Шендеровича «Про Вовчика и Кирюху». Она о том, как два парня во дворе подрались и какие мировые катаклизмы в результате произошли.

— Вы долго были невыезды...

— Ой, давно. А в последнее время я почти невыездной из-за рубежа. Конечно, это не совсем так, просто за два года благодаря изменениям, которые произошли, я успел объездить почти полмира.

— А что для вас там было особенно удивительно — исключая приветливые лица, вкусную еду и прочие их завоевания, о которых мы уже насышаны?

— Мне было особенно удивительно — почему я, получивший возможность посмотреть мир, не научился испытывать от этого радости? Почему поры мои для радости оказались уже закрытыми? Почему, где бы я ни находился, меня так ностальгически тянет туда, над чем я так смеюсь и, как считают некоторые, издеваюсь? Это для меня неразрешимые вопросы, и чувствую я это всегда, когда куда-то уезжаю...

— А какие впечатления от эмигрантов?

— Разные. Это нельзя нарисовать одной краской. Большое несчастье, когда в стране создаются предпосылки, чтобы люди из нее уезжали. И я все-таки надеюсь, что мы вступили в тот период, когда больше нет безысходности в вопросах выезда или въезда. Думаю, это даст возможность следующему поколению прожить другую жизнь. И нет ничего страшного в признании, что наша жизнь — залогничество будущей.

— О чем вы нас не спросила?

— Счастливы ли вы?

— Так счастливы ли вы?

— Наверное, да. Я счастлив потому, что не знаю никакой другой жизни, чем та, которую я проживаю. Я глубоко верую в судьбу и считаю, что все, что на роду написано, и есть счастье. Даже если это для посторонних объективно является несчастьем.

— А что вы себе желаете в новом году?

— Желаю не разувериться, что мой труд кому-нибудь нужен. Желаю видеть чуть более умиротворенные лица. Желаю добиться достижения — как сейчас принято говорить — моего консенсуса с жизнью, со зрителями, с тем, что мы называем новым счастьем.

— Пожалуйста, что-то нашим читателям.

— Желаю, чтобы у них в течение нового года название газеты, публикующей мое интервью, реализовалось в два самостоятельных определения: пусть для всех будет «советская» и пусть для всех будет «культура».

— Ну а теперь, пожалуйста, расскажите что-нибудь смешное!

— Я расскажу достоверные истории.

У одного князя был летописец. Он отражал действительность. А потом перестал отражать. Такая, говорит, прекрасная у нас действительность, что нет больше моих сил.

У одного генералиссимуса был плохой характер. Но никто ему этого не говорил — думали, само пройдет.

У одной женщины были принципы. Никак не могла она ими поступиться. Придет с работы, бывало, сядет в красный уголок и до утра пытается поступиться. Пытается, пытается — но не может.

У одного попа была собака. Он ее любил, но кормил отвратительно. И животное начало воровать — только от непонимания момента. Дальше не помню.

Попутно сообщу, что эти истории мне рассказал писатель Виктор Шендерович.

Мария ДЕМЕНТЬЕВА.